

Н.Н. Тертышный Мимоходом

("Непричёсанные рассказы")

Спешу предостеречь моего читателя от предвзятого чувства к моим коротким непричёсанным рассказам, несомненно, родившимся под впечатлением толчей на автобусных остановках, в электричках и тому подобное. Не от праздности мои размышления, от участия и интереса к людям...

НЕ ТА МИМИКА

«...Простите, я наступила вам на ногу», - девчушка лет восемнадцати упрашивающе глядит на меня снизу вверх. Я молчу, стараюсь взглядом показать своё доброе отношение к случившемуся. Вероятно, из меня получается плохой или, вернее, скверный Жан Гобен и я слышу уже в спину: «Смотри-ка, старикан, ещё и рожу корчит. Извинилась ведь...».

Итак, в свои тридцать кому-то уже в старики годишься....

ДИАЛОГ

Он - солидный, лет сорока, но сохранён, наиграно строг, не глядя на собеседницу, этак несколько в сторону тихо, но внятно: «Мне кажется, мы достаточно надоели друг другу», - нетерпеливо перебирает пухлыми пальцами над головой, сжимая поручни. Она почти солидна, лет чуть меньше, одета дорого, но со вкусом, красива, быть может, капризна, более наиграно, как плохая актриса, молчит.... Он, уже заискивая взглядом, тише: «Я не намерен здесь ругаться, но ты, ты...», - делано захлёбывается, она совсем отворачивается, предоставив ему для объяснений парик в крупных локонах. Он переходит на свистящий шёпот, который обедняет его солидный гладкий подбородок: «Ты воображаешь из себя чёрт знает кого. А ведь у меня тоже душа - не балалайка», - пробует опять захлебнуться, неудачно. Она уничтожающе поворачивает голову, кривит красивые яркие губы, но молчит, однако, давая понять, чего это ей стоит....

Автобус скрипит тормозами. Выходят... Она вперёд, энергично пихаясь локтями, он позади, лебезливо втискиваясь в проход, оставленный её изящной фигурой.

ОДНОПОЛЧАНЕ

...Летний воскресный день. Дышать нечем. Настроения никакого.... На автостанции автобус почти что растянули вдоль и поперёк. Вероятно, подошла пригородная электричка. Кое-как втискиваюсь плечом на заднюю площадку, но меня тут же вносит потоком, чуть ли не в середину салона. Насилу трогаемся, за

окнами плывёт духотища и пыльные с поблёклой листвой тополя.

Слышу за спиной:

- Глянь, Марья, личность шибко знакомая мене. В одном полку вместе служили...

Голос сиплый, разит махрой и винищем в равных пропорциях.

В ответ слышится женский упрёк:

- Тихо ты, пьянь. Тебе щас все знакомые...

- Говорю, пошибает на мово старшину. Спросить, однако, надо, - голос уже чуть сверху, наверно встал на цыпочки. - Товарыщ старшина...!? - гремит над головами вдоль автобуса.

Вижу, спереди оглядывается бритая солидная физиономия. Смущён до крайности, но в глазах мелькают этакие удивилки.

Сзади женщина, вероятно, всё ещё пытается одёрнуть своего спутника:

- Замолч, ты! Людям от тебя покою нигде нету...

- Стоп, Марья! - опять хрипит над головами: - Товарыщ старшина, признал? Егор Василич.... Эх, ма...!

Чувствую, прёт сзади что есть мочи.

- Замолч, говорю! Эх, потащи дурака в город..., - «Марья», вероятно, изо всех сил удерживает свою «пьянь».

Лысая физиономия впереди, сохраняя спокойствие, смущаясь, так нетерпеливо жестикулирует рукой: выходи, мол, чертяка ты этакий.... И выскакивает сам, лишь только автобус, зашипев, останавливается. Смотрю, как спешит к задней двери, обеспокоено шарит глазами по окнам, по лицам выходящих взмокших пассажиров, хватает прямо из толпы шуплого пьяного мужичонку в белой замусоленной кепчке. Слышу, как басит без смущения дрожащим голосом:

- Платонов, друг ты мой сердечный. Живой, чёртушка! Встреча-то какая, Платонов, а? Да не реви, ты..., не реви...

Обнимает и целует однополчанина прямо в кепчонку.

Рядом, смиренно прижимая к подолу хозяйственную сумку, стоит «Марья».

Шипит дверь, отгородив от оставшихся в автобусе, чью-то непростую судьбу и счастливую встречу. И вот уже за окнами вновь переполненного автобуса мелькают улицы и лики моего удивительно прекрасного города.

СЛЮБИТСЯ - СТЕРПИТСЯ

«...Пойдём сёдня на девять в «Русь», - мальчишка чернеющим пушком над губою касается маленького прозрачного девичьего уха. «А, там дрянь...», - ухо дёргается и почему-то чуть синее. «Ты чё? Сёдня Шукшин идёт, сильный мужик», - пушок смешно топорщится под носом. «Тоже мне мужик... Сельпо, короче, твой Шукшин», - ухо вздёрнулось и совсем посинело. «Сама ты сельпо», - пушок ужасно походит вдруг на неухоженные усы, а ухо, побагровев, резко отстраняется и мелькает уже на выходной площадке. Усы, подёргавшись, спешат вслед....

ДОЛГИЙ ПУТЬ

Поздно. Ранние зимние сумерки нехотя отбегают вместе с позёмкою из-под автобусных фар. Смотрю на часы. Это уж, верно, последний рейс. Автобус почти пуст. Кондукторша дремлет на месте «инвалидов... с детьми». У окна склонился мужчина. Я вижу этого человека почти ежедневно - на работу, с работы. Он стар на вид, угрюм, постоянно неопрятен, хотя всегда выбрит, и кажется усталым даже по утрам. Я знаю, где он всегда выходит из автобуса. Но сегодня он пропустил эту остановку. Наклоняюсь: «Простите, пожалуйста, вы проехали свою остановку...». Вижу близко его лицо: грубое, выбритое до синевы, и глаза: усталые, но тёплые и ласковые, с лучиками доброты к седине висков. «Нет, браток», - он поднялся, осторожно протискивая меж сидений сетку со множеством кульков и пакетов, направился к выходу. Потом обернулся и сквозь некоторое смущение добавил: «Вот уж большущую кучу лет, я не мог добраться до своей... остановки». И улыбнулся мягко, многозначительно.

(ОПЫТЫ)

1

Шоссе. Близко асфальт в камеру. Дорожная мелодия. Движение. Вдоль обочин близко поле, полынь, одинокий куст. Повороты. Шелест шин. Резко из-за поворота панорама большого города. Нарастающий ритм рока. Надвигающаяся громада города, как единой нескончаемой череды квадратов пустых окон. Камера мечется. Случайно как бы цепляется за ажурную ферму строительного крана. Медленно вокруг стрелы вверх по трапу, до конца, упираясь в высокое небо. Одинокая птица. Панорама окрест, плавно, любовно. Словно уменьшающийся город и великое нескончаемое поле (степь). За полётом птицы движение в пространство, вдаль, к маленькой точке в огромной бесконечной долине. Затихает рок. Точка медленно нарастает, в нерешительности застывает, представ сереньким домиком. Синие оконца. Тихий дворик. Калитка на одной петле. Тропинка на луг. Осень. Срезанные капустные кочерыжки. Серебро инея на земле. Движение. Бег. Шум ветра. Листва с деревьев много и шумно. Переходит в посвист вьюги. Метель. Одинокая фигура путника среди снежного моря. Ветром рвёт полы плаща (пальто). Горбится. Голова вниз. Руками тщетно защищает голову от ветра и снега. В кадре быстро мельком тёмное мокрое лицо. Борозды морщин. Прищур усталых потухших глаз. Камера пытается отыскать ещё лицо, взгляд. Обходит вокруг. Безрезультатно. По-прежнему безликая сгорбленная обессиленная фигура. Уже не сопротивляющаяся ветру, пурге. Останавливающаяся. Приседающая. Падающая. Пытающаяся ползти. Движения вторятся в негативе, наползают друг на друга. Камера выхватывает серую скорченную руку на снегу. Удаляется с поворотом вокруг распластанной фигуры вверх. Окончательная картина - серое месиво пурги, внизу точка упавшего в снег путника, справа манящая синяя искорка окна маленького дома, слева кровавое зарево города. Всё тонет в снежном вихре, кружится и остаётся внизу.

(Я всегда слышу музыку для своих картин, только очень плохо и редко знаю и помню, чья она...)

Первое мая. Малый городок. Праздничная демонстрация. Многоликая улица. Шум. Весенние краски. Кумач. Много военных в гражданской толпе. Заметно много военных. Ближе вскользь лица на небольшой трибуне. Стереотип лиц, но не казённо, тепло. Из рядов демонстрации ближе бегло лица. Два-три, задержка, поворот, повтор. Задержка - белобрысый, голубые глаза. Смеётся. Гимнастёрка, недавние следы погон. Рядом у плеча русая девчонка. Зачарованный детский взгляд. Рука в руке. Красные флаги, флажки. Шум площади. Песни. Дикторские поздравления.

Оторвавшийся красный шарик. Поднимается над демонстрацией. Камера вверх, повторяя полёт. Картинки провинции. Улица в тополях. В пригород, к реке. Проселочная дорога. Пыль, легко. К парому (к броду). Окрест луг. Зелень. Ярко. По траве бегут двое. Босые ноги. Рука в руке. Косынка на ветру. Платье пузырём. Выгоревшая гимнастёрка без погон. Белые зубы. Искры в синеве глаз.

Ближе река. Рыжая вода. Бурлит у деревянного борта парома. Он и она. Рядом чумазое лицо сельского тракториста. Тут же трактор. Камера обходит плавно. Повторы. Мягко, не назойливо. Глаза солдата. Усталость. Боль в глубине. Приседает, вздох. Прикрытые глаза. Чуть откинута голова. Камера отходит. Поворот. Уходящая картинка - паром на середине реки.

Резкая смена. Грохот боя. Серая масса земли в воздухе. Взрыв. Засыпанный солдат в окопе. Ничком. Недвижим. Мёртв. Рядом тот, голубоглазый. Лицо. Пустые глаза. Боль. Пыль. Приподнимается. Камера - вращение. Хаос. Смещение лиц - политиков, военных, известных, неизвестных, детей, женщин.... Шум боя, вокзалов, стадионов, площадей, парадов, демонстраций.... Чередование чёрно-белых и цветных кадров. Обрывки негатива. Фигура присевшего в окопе контуженого солдата. Картинка уходит. Расплывается. Серое переходит в зелёное.

Весеннее поле (луг). Открытая дорога. Яркий день. Небо. Спокойно, плавно. Он и она на дороге. Рука в руке. Камера сзади. Склонившиеся друг к другу. Плавный обход. Впереди взгорок. Малое сельцо. Весенняя картинка. Плавный переход к теме вечера. Сельский клуб. Танцы. Вальс. Разгорячённые лица. Молодежь. Пляска. Он идёт в присядку по кругу. Лица, улыбки, дешёвый убор клуба. Он любит и умеет широко плясать. Кружится её счастливое лицо.

Резкая смена картинки. Стоп. Повторы. Суэта. Маленькая редакция газеты. Бумага. Беготня. Неизменная гимнастёрка без погон. Усталый взгляд. Присел у стола. Откинута голова. Упавший карандаш. Безвольная рука. В дверях лица. Испуг. Камера - всё в цветной абстрактный шар....

Солнечный взгорок. Тихое кладбище. Птицы. Июль. Новенькая звёздочка над свежим холмом могилы. Как капля крови. Синее небо. Даль. Дорога. Из-за горизонта. Гудок дальнего паровоза. Одинокая девичья фигура. В чёрном. Беременна. Камера оставляет её в дали....

Лето. Лунная ночь. Чудо ночного луга. Трава - серебро. Окраина деревни (посёлка). Околица. Детские далёкие голоса. Смех. Приближается. Из проулка по серебру травы бегут дети. Пять, шесть. Впереди большой глупый щен. Рыжий и потому серебряный под луной. Заливается пустым лаем, ещё не окрепшим, срывающимся на визг. Дети кувыркаются в траве. Старые одежды от родителей. Отцовская фуфайка, мамины сапоги или наоборот. Лица близко. Камера вокруг. Поднимается. Шире охват пространства. Железная дорога режет кадр пополам. Одним концом исходит из посёлка, вторым наравне с речушкой убегает в даль. Посёлок фрагмент. Окраина. Чуть в стороне так же у железной дороги кладбище. Тихие дубы. Просто кресты. Речка серебряная. Редкий свет в окнах. Трубы в ночном небе. Над всем луна. Чисто. Просторно. Ночь скрадывает пыль дороги и неустроенность, заброшенность. Голоса с луга. Дети затеяли чехарду. Издали гудок паровоза. Камера резко обращена на железную дорогу. Прожектор жёлтым пятном. Луна сильнее. Нарастает гул состава. Приближается. В кадре. Дым. Мелькание колёс. (Время летит!). На кадрах идущего состава школа, пионерский сбор, горнист, красное знамя, суэта. Лица близко. Кадр задержка. Оглядывается юноша. Глаза близко. Любопытство, удивление восторг (всё вместе). За кадром голоса - играют дети на лугу, носится щен. «Дети, домой!» - зовёт мама.

Сквозь экран продолжает движение паровоз. Его ничем не остановить. Смена кадров. Проводы в армию. Сельская гармонь. Заплаканные глаза. Мама. Тот же юноша оглядывается так же. Близко глаза. Тревога, грусть. Посадка в вагон. Машет с подножки рукой. Далек у реки девичья фигура. Машет платком. Бежит. Состав уносится. Девчонка остаётся белым трепещущим пятнышком, оставшимся за поворотом.

Паровоз летит. Большая долина и вода. Много воды. Наводнение. Макушки деревьев из воды. Буруны в ветвях. Далёкая лодка. Сверху. Вода, вода. Дома, стога сена в воде. Тревога. И тут же увлекающая очаровывающая сила стихии. Смена кадра. Горы. Вертолёт. Камни, камни. Стрельба. Взрывы. Группа воинов. Рябые. Грязные. Оружие. Руки. Лица. Близко. Стрельба. Бег. Взрыв. Оглядывается тот же юноша. Лицо войны. Страх, усталость, безысходность, вопль (всё вместе). Падает. Вниз лицом. Неподвижен. Камера вверх. Рябое пятно униформы на фоне камней и пустыни. Гудит паровоз.

Смена кадра. Лето. Июль. День. Жарко. Посёлок. Железная дорога. Прошла и остановилась электричка. От железнодорожной станции лёгкая юношеская фигура. По тропинке к посёлку. Вдоль трава и кусты ивы. Рюкзак. Сапоги. Гимнастёрка. Открытая голова. Не спешит. Впереди за калиткой лай собаки. Выбегает почти красный пёс. Останавливается, замирает. Юноша окликает его. Пёс срывается, летит на встречу. Прыгает. Визжит. Оба падают в траву. Кувыркаются. Камера уходит вверх. За кадром голос матери: «дети, домой!». Грустно. Затихая. Звук стоп. Внизу в траве двое: солдат и выросший рыжий щен....

СТЫДНО

...Забарахлил двигатель. Дьявольщина! Только-только из ремонта и вот на тебе.... Останавливаюсь. Лезу под капот бедолаги «Запорожца». Чёрт знает, по

какой причине рассыпался изолятор свечи?... Копаясь в бардачке. Позади, далеко на обочине, фигура в длинном сарафане. «Пляжница...», - подумалось. Совсем недалеко здесь дикие пляжи, обжитые в эти чудные августовские дни, собирающие к себе иногородних туристов да ватаги нашей детворы. Меняю свечу, обжигаясь о рёбра цилиндров. Невольно поглядываю из-под локтя в сторону приближающегося сарафана. Метрах в пятнадцати от меня почти невидимым движением расстёгивает нижнюю пуговицу.... Заведомо известный манёвр перед тем, как попроситься в попутчицы. Наблюдаю исподтишка, понимая, что неприятен этим сам себе. Некрасива, но ладна и привлекательна, лет за тридцать, крашена и чертовски смугла. Почти коричневая кожа лоснится на плечах, в просвете распахивающегося сарафана. «Нам не по пути?» - голос приятен и не нахален. Поднимаю голову, пробую выразить озабоченность и отвечаю холодно: «Нет».

- Но ведь вы в ту сторону поедите? - указывает в сторону побережья и добавляет: - А мне показалось, что вы один....

Отвечаю ещё раз: «Нет». Нарочито озабоченно лезу под капот.

- Хм..., - раздаётся задиристое в мою согнутую спину. Слышу удаляющиеся шаги. Смотрю вслед на красивую фигуру, загорелую шею, на покачивающиеся капризно бёдра. Думаю зло и некрасиво: «Всё лето, небось, загорала». На ум приходит первое попавшееся уличное оскорбление: «Ведьма».

Вспомнил глаза жены: со скрытной тенью грусти и усталости. Вспомнил руки её маленькие и красивые, но загрубевшие на фабрике от капроновых сетей и канатов за двадцать с лишним годков беспросветного труда. Вспомнил её белые незагорелые плечи. Стало больно и нестерпимо стыдно, словно я провинился в чём и нет мне никакого оправдания....

Двигатель, наконец, как-то виновато заворчал, словно просил прощения за поломку. Не догнав удаляющейся фигуры «пляжницы», мой «Запорожец» выскочил на масляную спину шоссе и повернул в город....

БОЛЬНОЙ

В больнице к соседу в палате приходит каждый день жена. Этак заботливо, тихонечко. Немногословно шёпотом общаются. Она грустна и искренне печальна.

- Ты опять курил, Пашенька..., - она, жалея, укоризненно и мягко бранит его.

- Да-а..., - мычит в сторону: - Один раз.

- Нельзя ведь. Ты бы слушался врача, - она пытается заглянуть ему в глаза. Он прячет взгляд. Всегда можно видеть, как тягостны для него минуты их свиданий. Она уходит тихо и незаметно, словно стыдясь самую себя.

А в субботние вечера у него другая... женщина. Вольна и недосыгаема, до вульгарности красива. В её присутствии он почти здоров, весел до дерзостей и выглядит эдаким здоровячком. Курит беспрестанно сигарету за сигаретой и ест глазами свою посетительницу...

СОБАЧЬЯ ПАМЯТЬ

...В ясные лунные ночи мальчишки любили гоняться друг за дружкой на поляне за околицей у небольшого сельского кладбища. Им ничто не казалось необычным в этих визгливых играх среди летней ночи в хрусткой луговой траве, под взглядом добродушной луны. Впереди потяжкая, носился, как угорелый, здоровенный щен неизвестно каких пород. Чуть отставая, бегал мальчишка помладше, от восторга захлёбывающийся до икоты. Следом - старший, белобрысый, с длинными руками, почти взрослый, но которому ещё несколько не приходило в голову задуматься о своём возрасте. Это были до самозабвения вольные ночи пред самым Иваном Купалой, когда природа проявляет в человеке, а в детях особенно, суть его, начала его, корешки, уходящие в глубь веков.... Шерсть рыжего, почти огненного пса под луною была серебряною, как и белая голова старшего из мальчишек....

...Позже, спустя лет семь, совсем случайно мне довелось побывать в деревне. Остановился у калитки, уже новой и незнакомой, и которую заботливо запирает новый хозяин. Наш маленький домишко, таким трудом давшийся когда-то отчиму, показался холодным и чужим. Может быть потому, что вместо рубероидной кровли теперь покрыт шифером, серым и не по-деревенски ровным. Но вот... слышу лай собаки со двора.... Знакомый и приятный слуху хрип ахающей глотки. Щен давно уж возмужал, заматерел на цепи, сохранив лишь ту же огненную масть нечистокровия и взгляд влажных тёплых глаз. Он рвался с цепи, неся исправно службу сторожа. Я невольно назвал его по кличке. Пёс мгновенно смолк, осторожно глядя мне прямо в глаза. Казалось, он недоумевал. Я вторично окликнул его. И тут действительно можно было наблюдать, что эта верная и злющая псина имеет настоящую память. Глаза его приняли выражение некоторой досады, даже грусти. Да, да. Неподдельность этого сквозила во всей позе этого рыжего зверя, в как-то сразу повисшем хвосте, во вздрагивающих мышцах на груди. Он вспоминал, казалось, то, что начисто перезабыл за эти годы я сам.... Мне даже показалось, что вот сейчас пёс, наконец, отделавшись от неловкости, от внезапно нахлынувших чувств, бросится ко мне, ползет лизать мои руки шершаво и щекотно. Я ещё позвал его.... Но в ответ он зарычал. Глухо, беззлобно, но это был рык верного сторожа. Продолжая рычать, он как-то виновато загремел цепью, потупился, полез в свою конуру и улёгся, положив лобастую голову на лапы. И сколько я не звал его потом, он только рыком выдавал своё волнение. Подойти к нему у меня не хватило смелости. Из дома никто не вышел, верно, хозяева были в отлучке.

Уходя, я оглядывался и, шутя, делал псу какие-то знаки, пытаюсь выманить его на дружелюбие. Но лишь когда я закрыл калитку, он вылез из своего жилища, прошёл к тому месту, где я только что подзывал его, потянул настороженно носом и, глядя в мою сторону, виновато заходил кругами. Потом уселся и глядел мне в след долго и внимательно....

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

...Над городом по склонам разгоралось осень. У обочин дорог уже шуршала палая листва, а воздух по утрам приносил с дальних вершин тихую тревогу

похолоданий.

Сороку в автомобильной сутолоке на людном перекрёстке никто не замечал. Она проворно пикировала на «мёртвый» пяточок прямо посреди улицы, подхватывала что-то блестящее с пыльной дороги и мгновенно взлетала вверх. Отлетала чуть в сторону к большому тополю, садилась на выдающуюся к дороге громадную ветку и... отпускала из клюва это что-то блестящее. Лёгкий ветерок подхватывал вещицу, плавно наискосок относил к дороге и опускал на асфальт «мёртвого» пяточка... Сорока некоторое время бездействовала, словно забывала о блестящей находке своей, но потом, вдруг забеспокоившись, взмывала с ветки вверх, отлетала в сторону, и уже оттуда кидалась прямо в поток автомобилей к блестящему почти под колёсами предмету. И опять взмывала на тополь, чтобы повторить свой интересный опыт. Сорока постигала законы тяготения или может быть просто заполняла своё осеннее безделье.... Сколько бы это продолжалось, Бог весть, если бы резким ветерком не снесло вдруг блестяшку чуть далее пяточка прямо под колёса городского автобуса. Сорока долго словно недоумевала, беспокоилась, то взлетала, то садилась на ветку. Потом, будто сообразив о пустой затее, как-то сразу отказалась от неё, просто и не сожалела.... Резко взмахнула крыльями и улетела с шумного перекрёстка. Под безжалостными колёсами осталась смятой обыкновенная шоколадная обёртка....

Перекрёсток жил своей шумной хлопотливой жизнью. В воздухе пахло гарью и наступившей осенью...

ИЗ ЮНОСТИ

Апрель всюду хлюпал лужами на дорогах. Деревянные тротуары набухли влагою и почти не скрипели, как бывало зимою, под ногами. На носу были экзамены, а я влюбился в темноглазую кондукторшу и дни напролёт катался в автобусе из конца в конец нашего серенького городишки. Одна общая тетрадка, заменявшая мне все школьные принадлежности, прилипла клеёнчатой обложкой к животу и никак не желала спокойно лежать за пазухой. Какие к чертям экзамены, когда по утрам небо льёт влагу надежд на оживающие в приусадебных садах, когда в автобусной толчее тебя обжигает и подстёгивает к безрассудству насмешливый девичий взгляд, а в душе твоей кавардак и полнейшее отсутствие силы воли. Математика в тетрадке через пару листов превращается в новейшую историю, а физика пестрит стихами собственного пошиба, а весь комсомольский актив класса уже устал ставить твои беспартийные поступки на вид. «Тычка», классный руководитель, вместо английского преподаёт тебе уроки здравомыслия: «Полтора месяца до финиша, только полторы каких-то тридцатидневки и... конец целому одиннадцатилетию». Конец!? Но в меня, во всю мою семнадцатилетнюю сущность вселилось огромное предчувствие начала..., которому отчим почему-то сразу и без сомнения дал определение: дурь. Отношение к подобной «дури» у него было жёстким, как потемневший солдатский ремень, покоящийся давненько без дела в шкафу. Мама была более либеральна и, соглашаясь с определением «дурь», допускала возможность сосуществования последней с

нормальным окончанием средней школы. «Мальчишка сентиментален, но вполне сгодится в работяги», - делал свои выводы дядя Григорий, до мозга костей таёжник, добровольный бродяга, и предлагал уйти с ним в геологоразведку. Младшая сестрёнка, завистливыми глазищами съедавшая меня за завтраком, бегала в школе по пятам и к вечеру доносила, что сегодня я опять присутствовал только на третьем уроке, где и пытался, по её понятиям, урок истории превратить в маёвку дореволюционной поры. А я действительно был только на третьем уроке, действительно дурил и ужасно хотел сбежать с дядькой в экспедицию.

Но суматошный апрель грозил закончиться, и проза выпускных экзаменов приходила даже в толчею утренних автобусов. «Кончай ты этот балаган.... Пошли к нам на мебельную», - конкретно выдавал, единственно доходившую до меня мысль, Витька Шарыгин, первый закадычный дружок. Ему легко подавать дельные мысли уже только потому, что уже два года как забыл дорогу в нашу старую деревянную школу, а главное, он не влюбляется в хорошеньких девчонок. На сей счёт у него, как мне думается, полный комплекс стоицизма. «Хошь, с мастаком поговорю? Учеником возьмёт с руками.... Человеком станешь, а то в клуб у тебя вечно рубля нету. Дело говорю, а...?», - и смотрит этак понимающе своими зелёными чистыми глазами. Мысль, конечно, самая дельная. Но, только, почему же опять учеником...? Кажется, я достаточно походил в этом звании. Нет уж! Шляться по апрельским тротуарам, писать стихи и любить кондукторшу - куда приятнее и не такая уж это тяжкая наука. Словом, я уклонялся от всех предложений, хотя нутром чувствовал, что вся эта последняя школьная весна скоро кончится и я, с горем пополам сдав экзамены, пойду к «мастаку» на мебельную фабрику, и он с руками возьмёт меня в ученики....

НАЧАЛО

Время осенних штормов приносит к нашим берегам первые холода, сменяя мягкую духоту октября свежим дыханием океана. Прелесть приморских лесов, кленовые кроваво-бурые разводы по южным отрогам исчезают, словно испаряются в нависший серый горизонт. Днями, правда, ещё поигрывает где-нибудь в глухом распадке солнышко, согревая последним теплом листву на мшистых валунах горного ключа....

В конце октября пасмурным утром я уходил на пассажирском теплоходе в далёкое прибрежное селение на севере края, куда определился учеником в школу-магазин потребительской кооперации. Собирался ли я стать «торговцем Лобасом», как у Бориса Горбатова, или просто случай из самого начала моей биографии играл свою шутку, тогда было трудно определить. Это было только началом моего плаванья....

Большущий белый красавец-теплоход, всё лето возивший куда-то на юг, в экзотику Малайзии, туристов, отходил тогда от берега с немногочисленным населением только третьего класса и почти пустыми каютами верхних дорогих палуб. Отходил спокойно, без суеты, зная своё дело, как старый достойный мастер, приступивший к своему ремеслу после суматошного праздника. Остался где-то внизу на сером бетоне слёзный мамин взгляд, застыл белый взмах её

руки, а под ногами зыбко зазвенела палуба, разнося по телу неприятную нервную дрожь. Город, удаляясь, сразу стих и словно присмирел, провожая скатывающимися к воде лентами улочек. Сразу у створа бухты ветер покрепчал, налился хулиганистой силой и заставил пассажиров разбежаться с открытой палубы.

Мне тогда всё было вновь, всё в первый раз, но, помнится, большого очарования морем я не испытывал. По судовой трансляции оповестили о штормовой погоде, о запретах выходить на свежий воздух, кроме кормовой палубы, о работе ресторанов и библиотеки. Но я был удручён прощанием, чертовски грустил и потому завалился прямо в одежде на кровать. Тесная каюта на четверых была пустой, и я был предоставлен самому себе. Довольно скоро меня стало подташнивать, что никак не входило в планы знакомства с морем. Дурнота подкатывала до идиотизма монотонно через равные промежутки времени, голова отяжелела и наполнилась гулом. Начало плавания совсем не обещало великолепия. День, с горем пополам, я вынес. Даже выбирался один раз в бар, где закусил сухой колбасой, прихлёбывая её минеральной водой. Попутчиков у меня почему-то не оказалось, и я переносил качку в одиночку, скверно, полагаясь лишь на собственную выдержку. К ночи, утомлённый и почти обессиленный, я уснул, как это ни странно, а утром проснулся от ощущения своего обычного состояния, словно накануне меня не одолевали приступы морской болезни. Оказалось, теплоход давно уж стоит в тихой бухте, и неплохим сном я обязан был отсутствию качки. В иллюминатор искоса заглядывал солнечный блик от близкой зелёной поверхности воды. Я открыл это маленькое круглое оконце, и терпкий осенний «морячок» неприминул залезть за пазуху, заставил поёжиться. Вдали, освещённый утренним солнцем желтел изумительный овал берега. Правильность его была исключительной, и это не могло не пробрать сомнением - а берег ли это...? Нависший к самой воде лес подчёркивал желтизну песка, а белые барашки, уходящие от теплохода к берегу, были медлительны и не по-осеннему ласковы. Подумалось: не своими ли контрастами влечёт море человека? Там, за острым выступом мыса остался шторм, чувство беды, бессилия пред необъяснимой жестокостью океана. А здесь вот - райское место, торжество природной гармонии и, усиленное видением берега, чувство жизни, жажда её и осознание своего не такого уж слабого существа.

Мой поздний завтрак в ресторане был весьма аппетитен, чем я и удивил остроглазую официантку. Я, кажется, чувствовал себя бывалым скитальцем, был не по годам взрослым и симпатичным. Во второй половине дня теплоход вышел в море, но ощущение берега теперь острее жило во мне, и шторм, ухвативший судно с новой силой, был уж не столь ужасен и жесток. ...Ночью я вышел на кормовую палубу. Судовые огни бросали в пучину свой свет, но кажущаяся яркость его пропадала не далее чем за десяток метров от борта. Ветер порывами завихрялся сюда в защищённое место, а чуть в стороне уже гудел, завывая в оснастке и заноса брызги на ступени крутого трапа. Волна, чёрная и тугая, как месиво расплавленного серебра и резины, то жутко, в неудержимой силе, подкатывала к палубе, пробегая бисером по деревянному настилу, то так же с жутью отходила, проваливалась в бездну, почти исчезала из

виду где-то внизу под бортом, создавая впечатление невесомости громадины теплохода. Я был зачарован видением ночного штормового моря. Здесь, на палубе было свежо, ветер бодрил и давал силы. Думалось о мужестве людей, связавших себя, свои души с этой необузданной силищей. Эти думы окрепли ещё более, когда чуть вдалеке мигнули огни встречного судна. Они были довольно близки, но пучина волн то скрывала их, то вновь жёлтыми светлячками подбрасывала их вверх, отчего огни казались совсем рядом. Мрак ночи совсем не разъединял корабли, а наоборот, казалось, огни стремились друг к другу и были неразрывны в этом крошечном сплаве темноты, грохота и волн....

В ту осень мне было семнадцать, только семнадцать, ни больше, ни меньше. Я добирался куда-то к чёрту на кулички, в какоё-то посёлок учиться на какого-то торгового работника и проза жизни только-только втягивала меня в свою круговерть.... Но ныне я благодарю судьбу за то, что когда-то она преподнесла мир для меня открыто, не утаивая ни величия его, ни красок. Розовое, в черёмуховых заводах детство сменялось юностью, строгой и нелёгкой, но столь же броско окрашенной цветом неувядающей жизни, желанной и неповторимой....

ПО ГРИБЫ...

Щедры ныне леса. То ли потому, что лето было жаркое, безводное, а потом, в конце концов, и дождички опрокинулись на изнурённую землю. То-то грибов привалило! Народ валом в сопки кинулся. Целую неделю белыми да обабками веселился.... Всё вытоптали. Как смерч - людской поток. Но благо отошли боровые резко, как и появились нежданно-негаданно. И грибник случайный, шумный остыл, другим делом, наверно, занялся. На дачах осенних дел невпроворот. Поутих, угомонился и лес после набегов. Тихо. И птиц нет. После одиннадцатого сентября, на которое выпадает день Усекновения Главы Иоанна Крестителя, птиц уже мало. На Руси говорили - Иван Предтеча погнал птиц далече. Разве только синица попискивает, да сойка неприятно в чаще скрипит. Солнышко поостыло.... Хотя в полдни ещё лижет теплом щёку у какого-нибудь дуба разлапистого в затишье. Осенний сверчок теперь хозяин лесной тиши.... Из грибов сыроежки повылазили, всё больше синие, да красные. Крепеньких и тугих запросто лукошко собираешь. Ещё валуй ржавый, некрасивый, с крестьянским черёмуховым духом, в корзину просится из-под папоротниковой кочки. Да не жалуется наш городской грибник этого гриба. Не знает! На любителя валуй, на знатока, на тихого, нешумного грибника. Такого в остывающем лесу сразу узнаешь - спокоен, не суетлив, свой для леса. Корзина у такого не всегда полна, зато уж если и есть что, то все как один чистые и ядрёные. Своему лесничего не пожалует. Своему душу потешит, одарит теплом оставшихся последних осенних деньков на всю грядущую зимушку-студёнушку. Остановит на опушке, усадит очарованного у тёплого берёзового ствола, заставит солнышку прищуриться и улыбнуться...

...Опёнки нынче отменно уродились. Летние полезли поздно, к концу грибодарья. Да валом! На удивление дружно во всех рощах и прилесках. Знай, не зевай! Кто первый, тот и с грибами в два присеста. Следом и осенний опёнок

не опоздал. Народ опять в лес засобирался. Шумно! Утоптали все пригородные места, куста прямостоячего не найти. Всё обшарили. Каждую полынину туда-сюда перекаладывают друг за другом. А опята, знай себе, лезут из-под каждого пенёчка. Дружные, кучками, в пёстреньких мягоньких шапчонках, как мужики. Нет-нет одиночка попадается - что тебе боровик: мясистый, на толстой ножке и голова коричневая, бархатная. Важный гриб - осенний опёнок. И на сковороде хорош, и в маринаде зимой неплох. Хорошая хозяйка опёнки поважней других грибов почитает. Особенно поздние, осенние. И много его, и без червей, и готовится легко, а уж о вкусе и говорить нечего....

...Наведалься нынче в одно заповедное местечко. Дорога плохая, зато благодать грибная. Косой коси! Правда, припоздал уже чуть-чуть. Опёнок перерос, подсыхать стал, где чернотой взялся от ночных холодов, где серебряной плесенью снизу подёрнулся. Но всёравно и хороших ещё в достаток. Набрал-таки корзинку с горочкой. То-то жарёха будет....

СОН

...Судя по провианту, оставшемуся на кухне, хозяин уехал ненадолго; дня на три – четыре. Но Ему было не в первой оставаться и на более долгий срок. Он мало понимал, зачем хозяин так часто уезжает, оставляя его одного в этом пустом мире маленькой комнаты. Хотя бывают времена, когда здесь собирается много народу, наполняя квартирку непривычным шумом. Тогда Он часами может слушать горячие споры, вдыхать дурманящий запах сигаретного дыма. И Ему чертовски нравятся такие дни. А еще Он любит вечера, когда слышится скрип пера, да из-под шевелящихся усов хозяина тянутся к форточке кольца дыма. В такие минуты Он горд за человека, иногда сниходящего потрепать Его за ухом. Что подделаешь – у человека так много работы, забот. И Он, понимая это, никогда не совался не в свои дела.

Вот и теперь у хозяина какая-то командировка. Раньше Он тоже, завидя сборы в дорогу, предвкушал суету поездки, но теперь.... Теперь Он быстро уставал, шум действовал на Него удручающе, и теперь Он сам не имел желания таскаться в дальние поездки.

Хозяин ушел, почти не попрощавшись. Всегда некогда. Но возвращение его всегда было радостью, переполнявшей комнату запахами улицы и дорог. Тогда Он получал ту небольшую порцию внимания к себе, которая необходима всё-таки, чтобы не разлюбить человека.

Он обошел комнату, собрал поочерёдно в угол разбросанные листки бумаги. Три – четыре дня не так уж много. Можно подождать.

День прошел незаметно. То ли Он долго спал, то ли просто показалось. Поужинав кусочком колбасы, Он снова улегся, и прокрававшиеся в окно сумерки снова навеяли дремоту. Раньше Он засыпал крепким, здоровым сном, без каких бы то ни было сновидений. Но теперь Он во сне часто вздыхал, грезил забытым детством, и просыпался еще более уставшим и разбитым.

Вот и сейчас Он вздрогнул от чего-то, открыл глаза и хмурым взглядом окинул пустую комнату. В открытую форточку веяло предутренней прохладой. Было еще рано, а спать уже не хотелось. Он представил оставшиеся дни, и так

тоскливо заскребло где-то под лопаткой, глаза окутались серебристой поволокой слез, и здесь, у спинки потертого дивана, стало грустно и одиноко. Подошла, видать, собачья старость. Вот и слезу пустил, как последний плешивый щенок. Нет, надо развеять дурное настроение. И Он решил выбраться на улицу, побродить среди безмолвных спящих домов, подышать свежим воздухом. Решил вспомнить свою юность и озорство.

Забравшись со стула на окно, Он лапой распахнул его, потом слез, отошел в угол, и, разогнавшись, прыгнул. Прыжок получился некрасивым, плохим, но все-таки это был Его прыжок. А, как он умел прыгать, как прыгал... Но когда это было? Он оглянулся на растворенное окно. Да..., назад будет трудновато.

А прохлада и влага асфальта уже уносила Его куда-то в далекую забытую сторону, откуда Его забрали маленьким и беспомощным, где Он учился всему удивляться, и о которой почти помнил за суетой городской жизни.

Очнувшись только за городом, Он наблюдал, как со стороны бора, над вершинами деревьев уже искрились первые лучи солнца, как воздух наполнился звуками и теми запахами, которые навсегда живут в Его памяти. Его чутье улавливало запахи росистой ромашки и горечь полыни. Он помнил все это: и бор, подпирающий пиками сосен небо, и это чудное, прекрасное поле. Захотелось кувыряться в росе придорожной травы. Он вымок, но был счастлив, бодр и даже захотел есть. Ноги сами принесли Его туда, где Он родился, где впервые научился разбирать шум ветра и дождя, туда, где провел детство в кругу многочисленных братьев.

Вот и тот домик с палисадником у окон. Так же куст смородины в углу двора, где Он гонял когда-то цыплят. Так же у калитки лавочка. Он долго принюхивался, заглядывая за серый штакетник, потом сел поодаль, надеясь, что всёравно кто-то выйдет.

Его заметили. За калитку вышел старик, сел на лавку и стал то ли ругаться, то ли сетовать на что-то своё, человечье. Он сидел и просто слушал старика. Потом из дома на улицу выбежали два озорных мальчишки и, несмотря на окрики старика, вздумали трепать Его за уши. Он охотно согласился потворствовать им. Потом, уже очутившись в кругу набежавшей детворы, Он совсем позабыл самого себя. До позднего вечера он жил жизнью, молодой и резвой. И, кажется, не было никогда ни города, ни тесной комнатухи с прокуренными стенами. Казалось, Он навсегда вернулся в детство. Дети кормили Его прямо из рук хлебом и варёной картошкой. И казалось, нет ничего вкуснее этого на всём белом свете. Ночь Он спал на мягком пахучем сене без вздохов и сновидений, совсем не думая о следующем дне.

Но к утру, почувствовав прохладу, он ощутил снова противную дрожь в мышцах, открыл глаза, и долго с грустью смотрел на яркие краски утренней зари. Потом поднялся, постоял и тихо побрел полем к городу. Он не заметил, как промелькнул пригород, как оказался у открытого окна, такого высокого и недостижимого.

Он долго сидел, потом, решившись, прыгнул. Каким неловким и неуклюжим был этот прыжок. Головой он расшиб раму и почувствовал, как обожгло чем-то шею. Зазвенело разбитое стекло, и Он, влетев вместе с осколками, опрокинув стул, упал на пол. Здесь все было по-прежнему. Листы

исписанной бумаги в углу, заплесневевшие колбаса и хлеб на кухне, и запахи прокуренных стен. Пытаясь идти, Он поскользнулся и только тогда понял, что поранился о стекло глубоко и серьёзно. Кровь стекала с шеи на грудь густой дымящейся волною. Подняться уже не было сил. Припомнилась дорога и степные запахи, детские голоса, высокое небо и тенистый смородиновый куст в палисаднике у маленького дома. Он устало прикрыл глаза и словно уснул чутким старческим сном...

У ОЗЕРА

...Плакала росным пряным утром над озером верба. Плакала, роняя серебро лучистых капель в зелень мягкой сонной волны. Солнце давно уж перецеловалось с вершинами заозёрных черёмух, давно выпарило росы с пьяного луга, поднимая их чуть приметными тучками хмельного туманца. И только здесь под самую кручею восточного берега не побывало ещё его тёплого щедрого лучика. И стоит вот верба, купая нижние ветви свои в озере, словно заждавшись солнца, кручинится и плачет нежная, плачет.... А пройдёт совсем немного времени, заискрится в каплях свет, согреет узколистую красавицу, и зашелестит на лёгком надводном ветерке она. Повеселеет.... И словно не бывало печального и росного утра...
